

АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН

ЛЕГЕНДА

Александр Герцен
Легенда

«Public Domain»

1836

Герцен А. И.

Легенда / А. И. Герцен — «Public Domain», 1836

«Несколько месяцев тюрьмы, несколько месяцев без открытого неба, без чистого воздуха. Тюрьма не есть уединение, чувство, что человек выброшен из общества, отрешен от всех его условий, — давит, душа сосредоточивается, занимает наименьшее пространство, уменьшается. Томно шло время и однообразно до крайней степени, сутки потеряли свое измерение, все 24 часа превратились в одну тяжелую серую массу, в один осенний вечер; из моего окна видны были казармы, длинные, бесконечные казармы, и над ними голубая полоса неба, изрезанная трубами и обесцвеченная дымом...»

© Герцен А. И., 1836

© Public Domain, 1836

Содержание

I	5
II	7
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Александр Герцен

Легенда

Fu, e non e...

Non sara tutto tempo senza reda...

Del «Purgatorio»¹

(Посвящено сестре Наташе)

I

«Яко же огреби миру быхом, всем поправление доселе...»

К коринф. I посл., гл. IV

Несколько месяцев тюрьмы, несколько месяцев без открытого неба, без чистого воздуха. Тюрьма не есть уединение, чувство, что человек выброшен из общества, отрешен от всех его условий, – давит, душа сосредоточивается, занимает наименьшее пространство, уменьшается. Томно шло время и однообразно до крайней степени, сутки потеряли свое измерение, все 24 часа превратились в одну тяжелую серую массу, в один осенний вечер; из моего окна видны были казармы, длинные, бесконечные казармы, и над ними голубая полоса неба, изрезанная трубами и обесцвеченная дымом. Наконец потребность воздуха, солнца, неба превратилась в болезнь, в тоску. – Мне позволили гулять. С каким искренним удовольствием вышел я на печальный двор, отовсюду обставленный солдатами, чистый, плоский, выметенный, без травы, без зелени; правда, по углам стояли деревья, но они были печальны, мертвые листья падали с них, и они казались мне то потерянными бедными узниками, грустящими, оторванными от родных лесов, то часовыми, которые без смены стерегут заключенных. Удовольствие мое тускло, темнело; к этому прибавилась еще причина; кто не был в тюрьме, тот вряд ли поймет чувство, с которым узник смотрит на своих провожатых, которые смотрят на него, как на дикого зверя, – Я хотел уже возвратиться в свою маленькую горницу, хотел опять дышать ее сырым, каменным воздухом и с какою-то ненавистью видел, что и это удовольствие, к которому я так долго приготавливался, отравлено, как вдруг мне попала на глаза беседка на краю ограды. «Можно идти туда?» – «Я думаю», – отвечал офицер после некоторого молчания; я вошел, и чуть крик восторга не вырвался из моей груди: пространство более нежели на двадцать верст раскрывалось внезапно, нечаянно.

Кто не знает чувствований, с которыми смотрит человек вдаль с горы? Я сам часто испытывал их; но тут явилось что-то новое в моей груди, сжатой каменными стенами, – в груди колодника...

Вся Москва, весь этот огромный, пестрый гигант, распростертый на сорок верст, блестящий своею чешуею, вся эта необъятная, узорчатая друза кристаллов, неправильно осевшихся. Я всматривался в каждую часть города, в каждой груди камней находил знакомого, приятеля, которого давно не видал... Вот Кремль, вот Воспитательный дом, вот крыша театра, вот такая-то церковь...

Осеннее солнце, «как итальянская луна», не ослепляло; полосами была Москва наводнена его светом, полосами была темна, и эти полосы перебежали: Москва, казалось, то улыбается, то браздит морщинами чело свое. Вся московская жизнь представлялась мне ярко, живо, со всей пустою шумливостью и деятельностью без цели; я почти знал, что делается вот под этой зеленой крышею большого дома, на который Москва не позволяет дунуть ветру, и под дощатым навесом этой хижины, которую Москва толкает в реку. Вспомнилась прошед-

шая жизнь. И святые минуты чистых восторгов, и буйные вакханалии, и немая боль скуки, и ядовитые объятия разврата – все, все виднелось мне из кирпичных масс.

Не знаю, долго ли бы простоял я тут или долго ли бы мне позволили простоять. Но раздался густой, протяжный, одинокий звук колокола с другой стороны; звук колокола заставляет трепетать; он слишком силен для человеческого уха, слишком силен для сердца; в нем есть доля угрызения совести и печальный упрек; он зовет, но не просит; он напоминает о небе, но пренебрегает землею.

Доселе я не обращал внимания на другую сторону, Москва поглотила меня. Страшный звук меди среди этой тишины заставил обернуться – все переменялось. Печальный, уединенный Симонов монастырь, с черными крышами, как на гробах, с мрачными стенами, стоял на обширном поле, небольшая река тихо обвивала его, не имея сил подвинуть несколько остановившихся барок; кое-где курились огоньки, и около них лежали мужики, голодные, усталые, измокшие, и голос меди вырывался из гортани монастыря.

Как не похож Симонов монастырь, заключенный со всех сторон в ограды, на Москву, раскрытую со всех сторон; в нем было столько тишины и спокойствия, столько святого и поэтического. Печален вид его, и грустен его колокол, но он знал лучшие времена, он был знаменит и славен, торжественно звал его колокол тогда; теперь, ежели б не напомнил о себе, может быть, я не заметил бы его. Старинная архитектура указывала время его славы, и он не хочет переодеться, так, как многие желают умереть в венчальном платье. Тогда ему еще нужны были стены для защиты от врага; счастливое время; на что теперь эти стены, эти башни? Враг умеет их миновать, умеет везде найти свою жертву; и не в твоих ли оградах лежит юноша, который так иного жил в своей короткой жизни? Тогда враг являлся в виде вооруженного Савла – можно было ждать обращения, теперь в виде Иуды – одна надежда на самоубийство.

Возвратившись в мою горницу, я вспомнил всю блестящую эпоху монастырей; живо представились мне эти люди с пламенной фантазией и огненным сердцем, которые проводили всю жизнь гимном богу, которых обнаженные ноги сжигались знойными песками Палестины и примерзали к льдам Скандинавии. Эта жизнь для идеи, жизнь для водружения креста, для искупления человека казалась мне высшим выражением общественности – ее нет более, и она невозможна теперь. Тогда были века, умевшие веровать, умевшие понимать власть идеи, умевшие покоряться, умевшие молиться в храме и умевшие воздвигать храмы. Великая кисть художника увековечила на стенах Ватикана торжественную минуту силы идей – раб рабов божиих оттирает сандалины свои об венчанное чело Цезаря... И тут же, казалось, я слышал свист и смех, с которым встретило XIX столетие религиозное направление.

Забудемте, ради бога забудемте наш век, перенесемтесь в эти времена тихого созерцания, в эти времена неба на земле ².

² Легенда, предлагаемая здесь, находится в «Житии святых» за сентябрь месяц. Для чего же я переписал ее? Гёте говорит: «Nun erzählte die Gesellschaft dem Wunsche gefällig Jene Legende... Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kamen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, daß jedes Gemut einen anderen Anteil an der Begebenheit, genommen» («Sanct-Rochus Fest zu Bingen, 23 Apr. LXVIII B»). («Присутствующие принялись рассказывать эту легенду, идя навстречу пожеланию... Стало понятным подлинное существо легенды, которая переходит из уст в уста, от одного к другому. Противоречий не было, зато бесконечные варианты, которые, по-видимому, обязаны своим происхождением тому, что чувство каждого по-разному проявляло свое участие к событию» («Праздник святого Роха в Бингене, 23 апр., LXVIII B» – нем.). Метафраст писал мартиролог при Константине Багрянородном; теперь XIX столетие. – Примеч. автора.

II

*Аминь глаголю тебе, днесь со мною будеши в рай.
Лука, гл. XXIII, ст. 43*

Юноша в простой одежде вышел из городских ворот Александрии и скорыми шагами пробегал Некрополис, не обращая ни малейшего внимания ни на дивные пещеры, иссеченные в камне, ни на дивные картины, покрывавшие их стены. Эта невнимательность отнюдь не происходила от одной привычки, приучающей человека без удивления смотреть на все, но оттого, что он был занят какою-то мыслию, которая ревниво отталкивала весь мир. Сильные страсти боролись на его лице, мертвая бледность покрывала щеки, иногда слеза тихо скатывалась, и он не замечал ее. Белое лицо его было чрезвычайно нежно, и, когда он отбрасывал рукою кудри, падавшие ему в глаза, его можно было принять за деву; большие черные глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое видим в юных лицах жителей Юга и Востока, столь не цохожее на мечтательность в очах северных дев; тут – небесное, там – рай и ад чувственности. Во взорах юноши проглядывал фанатизм, что-то восторженно-религиозное, принадлежащее его родине, колыбели христианского аскетизма и кенобития отшельников фиваидских, где самое умерщвление страстей превратилось в страсть.

Удалившись несколько от города, юноша остановился, долго слушал исчезающий, раздробленный голос города и величественный, единый голос моря³... Потом, как будто укрепленный этой симфониею, остановил свой влажный взор на едва виднеющейся Александрии.

Александрия – Греция, возвратившаяся в Египет, памятник славы сына Юпитера Аммона, надгробный памятник Клеопатры, – засыпала в золотой пыли, в тумане света и жара. Усталое солнце томно погружало лицо свое в средиземные волны, раскаляя длинную полосу на море, которое готово было вспыхнуть, Несколько забытых, опоздалых лучей солнца играли на крестах храмов христианских; Александрия была тогда поклонница Христа, придавая чистой религии его свои неоплатонические оттенки и свою мистическую теургию Прокла и Аполлония.

Уже храм Сераписа, Кёльнский собор мира языческого, с своими сводами, галереями, портиками, бесчисленными колоннадами, мраморными стенами, покрытыми золотом, давно был разрушен, и колоссальная статуя Сераписа, на челе которой останавливался луч солнечный, не смея миновать его, была разбита и превращена в пепел. Но Александрия, еще сильная и могущественная, не лишенная прелестей, коими ее наделил Динократ, прелестей, коими нарядила ее Клеопатра, наряжая себя, пышно и сладострастно смотрела на юношу, не предвидя, что скоро превратится в Искандери аравов.

Грустен был взор юноши, он говорил: «Мы расстаемся, я более не гражданин твой...» Но ему было жаль Александрии, тут он узнал жизнь, тут он любил, тут, может быть, был любим, тут... Но какое-то страшное воспоминание пролетело по лицу юноши, какое-то угрызение совести, и он, обратясь к востоку, бросился на колени, и горячие слезы раскаяния сопровождали молитву его; она была без слов, без мыслей, может быть; но она была истинна и глубока, мысли и слова отняли бы всю духовность ее, так, как они ее отнимают у музыки.

Чиста и прелестна молитва невинности, как весеннее утро, как вода нагорного потока, но в ней есть чувство собственного достоинства, требование награды. Дева чистая называет себя невестою Христа – невестою того, которого Соломон называл женихом церкви. Не такова молитва преступного, рыдающий, поверженный в прахе, он алчет одного проще-

³ Le Seigneur Mele eternellement dans un fatal hymen Le chant de la nature au cri du genre humain. V. Hugo. (Господь вечно сливает в роковом супружестве песнь природы с криком рода человеческого. В. Гюго франц.)

ния, его молитва раздирает его душу; в ней вся его надежда и вместе отчаяние; он чувствует свою недостойность, но чувствует и безмерную благодать бога; он боится, трепещет, уничтожает себя и возрождается, живет токмо в нем, в искупителе рода человеческого. Сильна и пламенна молитва преступника, как поток каленого металла, бросаемого из огнедышащего жерла к небу; и не для грешника ли создана молитва? Праведному – гимн.

«Па»

«Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла... А потому сказываю тебе:

прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много».

Евангелие

Окончив свою молитву, юноша встал, прощальным взглядом поцеловал Александрию и пошел далее; темнело, и он, углубляясь в плоскую даль пустыни, едва был виден и исчез наконец...

На другой день проходил он к вечеру дикое и пустынное место и, казалось, еще не отдыхал; шаги сделались тише, дыхание тяжелее; в темноте можно было разглядеть массу еще темнейшую, которая грубо и тяжело вырезывалась на небосклоне; увидев ее, юноша собрал последние силы, удвоил шаги и вскоре подошел к каменной ограде – ворота были закрыты. Несколько раз подымал он руку, чтобы постучаться в окошко привратника; но рука не поднималась, – видно было, что поступок, им предпринимаемый, слишком изменял всю жизнь его, слишком глубоким оврагом отрезывал все прошедшее от всего будущего.

Раскаяние, негодование на свою слабость показались на его чертах, и он коснулся до окна, трепет пробежал по его членам; казалось, что стучат у него в сердце, и седая голова привратника два раза повторяла уже свое приветствие сонными устами и спрашивала о причине позднего прихода, прежде нежели юноша вымолвил: «Отец мой, иди к игумну, скажи, что у ворот стоит презренный грешник, что он умоляет принять его в монастырь, что он пришел обмыть ваши святые ноги и работать и трудиться». Седая голова исчезла, слова какой-то молитвы коснулись ушей юноши, потом слышались тихие шаги, которые звучали по камню, потом все умерло и ничего не было слышно. Каждый шаг чувствовал юноша в своей груди – он делал его на поприще, им избранном, – и мысль, к которой он Давно приготовлялся, теперь, казалось, была слишком сильна для его груди. Не так ли трепещет человек, ведя к алтарю свою возлюбленную?

Юноша бросился на большой камень; волнение его утишалось, высокое чувство веры восходило, подобно солнцу, из возмущенных волн, освещая их, согревая, передавая им свой свет. Он отрешался от мира земного, он слышал глас Иисуса, призывавший его туда, в обитель любви и надежды, туда, где поют бога чистые ангелы, где души праведных его видят, где между ними и покаявшиеся грешники... Долго сидел он неподвижен, склоняя голову на обе руки, по коим рассыпались его кудри, и в это время он, казалось, гармонировал и с мертвою тишиною пустыни, и с мрачною недвижностью монастыря, и с сухими, печальными растениями берегов Африки, и всего более с своею родиною – Египтом, который однажды жил, остановился на своих обелисках и пирамидах и стоит с замершей на устах немой речью иероглифов. Проходят часы; нет привратника. По временам пронзительный вой шакала раздается протяжно и длинно, не встречая препятствий, подобно голосу военной трубы; он ищет жертвы и вторит, не находя ее. Юноша ничего не замечал; но вот вблизи его быстрыми скачками, едва дотрогиваясь до земли, пронесся барс, *lonza leggiera*⁴. Юноша содрогнулся, и немое гнетущее чувство одиночества овладело им. Ужасно чувство, с которым человек видит, что он оставлен всем светом, когда он невольно обращает умоляющий взгляд вокруг себя, зная, что никто не подаст ему помощи, и когда взгляд его встречает вместо спасителя яря-

⁴ Легкий барс (итал.)

щиеся волны океана, улыбающийся взгляд инквизитора или взгляд без выражения палача. Первое движение юноши было бежать; куда? – он сам не знал, но вера в провидение остановила его. Он осенил себя крестом и спокойно сел на свой камень. Христианин победил человека. – Ночь прошла, зарделся восток, но привратник не являлся. Ужели он не исполнил просьбы юноши, ужели игумен не спешит утешить страждущего сына?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.